

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 26

“Отлетает Русь, отлетает...”

К началу 1924 года Клюев уже, можно смело сказать, — отрицательный герой современной русской литературы. Во всяком случае именно в таком виде он был подан в книгах Льва Троцкого “Литература и революция” и Василия Князева “Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)”.

Троцкий, воздавая должное Клюеву как “мужику”, предварительно “ошупывал” его со всех сторон, прикидывая — на пользу ли вообще революции этот поэт-мужик... “Именно на нём, на Клюеве, видим мы снова жизненную силу социального метода литературной критики... Индивидуальность Клюева находит себя в художественном выражении мужика, самостоятельного, сытого, избыточного, эгоистично-свободолюбивого... Мужик, сумевший на языке новой художественной техники выразить себя самого и самодовлеющий свой мир... мужик, пронесший свою мужичью душу через буржуазную выучку, есть индивидуальность крупная — и это Клюев...” Прощупали. Вроде бы — определились. И всё же — что-то ускользает. Не прикладываются отточенные социально-классовые формулировки... Троцкий пытается пойти дальше: “Клюев не мужиковствующий, не народник, он мужик (почти)... Клюев учился. Где и чему, не знаем, но распоряжается он знаниями, как начётчик и ещё как скопидом. Крестьянин зажиточный, вывезя из города случайно телефонную трубку, укрепляет её в красном углу, неподалёку от божницы. Так и Клюев Индией, Конго, Монбланом украшает красные углы своих стихов, а украшать Клюев любит... Клюев хороший стихотворный хозяин, наделённый избытком: у него везде резьба, киноварь, синель, позолота, коньки и более того: парча, атлас, серебро и всякие драгоценные камни. И всё это блестит и играет на солнце, а если поразмыслить, то и солнце его же, клюевское, ибо на свете заправски существует лишь он, Клюев, его талант, земля его под ногами и солнце над головой...”

Типичное представление о Клюеве человека, который, не вчитавшись, пробежал глазами по поверхности стихи “Песнослава” и “Львиного хлеба”. Но Троцкому не до “вчитывания”. Он стремится понять — можно ли из Клюева извлечь ему, Троцкому, пользу. И приходит к выводу: нет, нельзя... “Клюев — поэт замкнутого и в основе своей малоподвижного мира, но всё же силь-

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 5–9 за 2011 год.

но изменившегося с 1861 года... Стихи Клюева, как мысль его, как быт его, не динамичны. Для движения в Клюевском стихе слишком много украшений, тяжеловесной парчи, камней самоцветных и всего прочего... (Глаза разбегаются, тут бы и собрать воедино все свои впечатления, увидеть внутреннее движение в этом кажущемся “застое” — куда там!)... “Клюев приемлет революцию, потому что она освобождает крестьянина, и поёт ей много песен. Но его революция без политической динамики, без исторической перспективы. Для Клюева это ярмарка или пышная свадьба... Клюев даже в те медовые дни так и этак прикидывал, не будет ли от всего этого ущерба его клюевскому хозяйству, то бишь искусству...” И главное — в финале. “Когда Клюев “подспудным, мужицким стихом” поёт Ленина, то очень нелегко решить: Ленин это или... анти-Ленин? Двоемыслие, двоечувствие, двоеслобие...” Для Троицкого вся образная система Клюева — тёмный лес. И он в бессилии опускает руки, зафиксировав “самое главное”: “Каков будет дальнейший путь Клюева: к революции или от неё? Скорее от революции: слишком уж он насыщен прошлым. Духовная замкнутость и эстетическая самобытность деревни, несмотря даже на временное ослабление города, явно на ущербе. На ущербе как будто и Клюев”.

Интересно, однако, что Троицкий вывел Клюева из разряда “мужиковствующих”, к которым отнёс Бориса Пильняка, Всеволода Иванова и Сергея Есенина. Для него это — “мужиковствующие интеллигенты”, “юродствующие в революции”... Но то, что он пишет о них, как бы запрограммировано именно в его статье о Клюеве: “Мужик, как известно, попытался принять большевика и отвергнуть коммуниста. Это значило, по существу, что кулак, подминая под себя середняка, пытался ограбить историю и революцию: прогнавши помещика, хотел растащить по частям город и повернуть жирный тыл государству (так ведь и о Клюеве по сути то же самое: “Города Клюев не любит, городской поэзии не признаёт...” — С. К.)... По существу же революция означает окончательный разрыв народа с азиатчиной, с XVII столетием, со святой Русью, с иконами и тараканами; не возврат к допетровию, а, наоборот, приобщение всего народа к цивилизации и перестройка её материальных основ в соответствии с благами народа. Петровская эпоха была только одним из первых приступочков исторического восхождения к Октябрю и через Октябрь далее и выше...”

Троицкий играл в свою игру. Определив Клюева (а вместе с ним и Есенина) как “литературных попутчиков революции” он, декларируя совершенно антиклюевскую программу, одновременно “отстранял” самого Клюева от крайностей “программы” “мужиковствующих” (сочинённой за них самим Троицким) и рисовал своё идеальное “будущее”, антагонистичное всему творческому миру именно Клюева: “Ревнивый, исподлобья глядящий Клюев в споре с Маяковским заявляет, что “песнотворцу не пристало радеть о кранах подъёмных” и что в сердечных домнах (а не в иных каких) выплавится жизни багряное золото”. В этот спор вмешался Иванов-Разумник: народник, прошедший через левозерство, — этим всё сказано... Новый человек, который себя только теперь проектирует и осуществляет, не противопоставит, как Клюев, а за ним Разумник, тетеревиному току и осетровым мережам подъёмных кранов и парового молота. Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всём её объёме, с тетеревами и осетрами, через машину. Он укажет, где быть горам, а где расступиться. Изменит направление рек и создаст правила для океанов... Останутся, вероятно, и глушь и лес, и тетерева, и тигры, но там, где им укажет быть человек... Нынешний город преходящ. Но он не растворится в старой деревне. Наоборот, в основном деревня поднимется до города... А нынешняя деревня — вся в прошлом. Оттого её эстетика кажется архаичной, из музея народного искусства... Страсть к лучшему сторонам американизма будет сопутствовать первому этапу каждого молодого социалистического общества. Пассивное любование природой уйдёт из искусства. Техника станет гораздо более могучей вдохновительницей художественного творчества. А позже само противоречие техники и природы разрешится в более высоком синтезе...”

Вся эта, по-своему “замечательная” программа, станет дальнейшим руководством к действию для многих и многих на площадке уничтожения традиционных форм и сущностей жизни и возведения новых... Докатится волна и до клинической полемики “лириков” с “физиками” начала 1960-х годов, ес-

тественно, без упоминания Троцкого, как такового... Но Троцкий на этом не остановился. Он продолжал развивать свою “утопию”, отдельные элементы которой, к сожалению, потом найдут (или им будут пытаться найти) применение в реальной жизни.

“Рационализовав, т. е. пропитав сознанием и подчинив замыслу свой хозяйственный строй, человек камня на камне не оставит в нынешнем косном, насквозь прогнившем домашнем своём быту. Заботы питания и воспитания, могильным камнем лежащие на нынешней семье, снимутся с неё и станут предметом общественной инициативы и неистощимого коллективного творчества... Перестав быть стихийным, быт перестанет быть и застойным. Человек, который научится перемещать реки и горы, воздвигать народные дворцы на вершине Монблана и на дне Атлантики, сумеет уж, конечно, придать своему быту не только богатство, яркость, напряжённость, но и высшую динамичность... Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет – под собственными пальцами – объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Это целиком лежит на линии развития... Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень – создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно – сверхчеловека... Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины”.

Безудержная вера в рукотворный прогресс, в возможность “радикальной переработки” человеческого организма, в создание “сверхчеловека”, в успешную борьбу с “застоем” – всё это внедрялось в русское сознание на протяжении всего XX столетия... Троцкий не преминул подчеркнуть свою “антиподность” Ключеву даже в упоминании “народных дворцов на вершине Монблана” как апофеоза “мировой революции”, имея в виду стихи “Львиного хлеба”, где “стихийные” русские люди –

*Дарья с Вавилом качают Монблан,
Каменный корень упрям и скрипуч...
Встал Непомерный, звездистый от ран,
К бездне примерить пылающий ключ.*

... Сразу после выхода свет книги Троцкого “Литература и революция” вышла в свет “долгожданная” книжка Василия Князева “Ржаные апостолы”. Сей автор уже не прикидывал и не размышлял – оставить Ключева “в прошлом” или нет. Он его попросту хоронил.

“Ты ставишь себе в заслугу, что идёшь в лес не с железом, что не несёшь ему ран и увечий? Прекрасно. Но ты – хуже поступаешь с лесом. Посмотри, что ты сделал с ним. Где его благовонный, смолистый, целящий людскую грудь аромат? Ты его отравил ладаном. Здесь задохнуться можно...”

“Если душевный склад человека всего полнее укладывается в такие жизненно-идеологические рамки:

*Так немного нужно человеку:
Корова да гряды луку,
Да слезинка, в светлую поруку,
Что придёт кончина злomu веку —*

Яснее ясного, что для такого человека ключевская церковь – идеал.

И многих она привлечёт к себе – втянет в себя (как трясина), многих погубит. Больно уж пахотная почва благоприятна для её восприятия: распахана, унавожена, уготовлена самой тысячелетней жизнью. И если б Ключев остановился только на этом, не пошёл дальше – через пожравший его город в мрачную “Долину единорога” – его проповедь явилась бы наиболее чёрной опасностью для культуры, которую когда-либо знала Россия.

Ибо нет ничего чернее, как – оправдать и святить пингвинью крылатость и всю жизнь превратить в одно бесконечное сладостно-умиленное рыдание, вздыхание и кормление кутьёю малиновок!

“Бог” – это душевный горб пахаря; горб – искривление позвоночника; что нужно сделать, чтобы избавиться от горба?

– Выпрямить позвоночник”.

“И когда он, коммунизм, видит, что клюевские “благовестные звоны” находят в тёмной, пахотной душе родственные звуки, заставляя струны этой души – звучать; и звучать – более гармонично: стройно, согласованно, напевно... он говорит:

– “Истинно-человеческая культура – в опасности!”

– И, как прямой вывод отсюда:

“Если кому и вешать мельничный жёрнов на шею, то – именно вот такому “учителю-пророку-апостолу” – дрозду – псалмопевцу, а не тому “учителю-пророку-апостолу”, что собирает по деревьям бабье полотно, яйца, масло и лично перещуывает кур, блюда свои “апостольские” интересы...”

Князев прекрасно ведаёт, что творит. Он знает цену клюевской поэзии. Более того – местами он от неё в подлинном восхищении. “Что можно сказать о поэтическом языке “Мирских дум”? Только одно: чистота, образность и изобразительная сила его – былины. И это совсем неправда, что он уснащён “провинциализмами”, что читать Клюева можно только с Далевским толковым словарём. Не “провинциализмы” делают стих Клюева непонятым, а та “оспа буквенная”, что извела наши глаза и уши при благосклонном участии очагов заразы, всеильных перед войною, бульварно-буржуазных газет. Мы забыли настоящий, народный язык: дутый стеклярус отучил нас от жемчуга.

Да что жемчуг – мы отвыкли даже и от гранёного хрусталя”.

В эти строки клюевского ненавистника стоило бы читать не только многим пристрастным современникам, но и иным нынешним “литературоведам”, замуровывающим поэта в различные резервации под разными названиями: “Новокрестьянская поэзия” (эту “песню” первым “спел” Василий Львов-Рогачевский, от которого Клюеву “дышать было нечем”) или “Серебряный век”... И всё с одинаковым припевом: “провинциализмы”, “далевский толковый словарь”...

Но чем объективнее драгоценнее Клюев как поэт, тем страшнее он для Князева, а в глазах Князева для всей революционной России.

“Клюев не рядовой пахарь и не православный пахарь. Клюев – идеолог-сектант. Мистическую пашню свою он пашет глубоко забирающим “электроплугом” идейно-духовно-обоснованной потребности в божьем бытии... Клюев – поэт-пахарь-идеолог. А то, что Клюев не православный, а “раскольник”, нисколько не меняет дела. Наоборот, это – усугубляет наш интерес к нему, ибо на “раскол” (сектантство) мы смотрим как на высшее – общедоступную, в настоящее время, при настоящих условиях – степень умственно-духовного развития нашей деревни...”

А погиб Клюев как поэт, по мысли Князева, когда “пошёл в город”, когда в нём “проснулся революционер”.

“Клюев – умер, потому что он не может существовать без “хвойной купели”, а хвойная купель, доверху наполненная парной и маркой кровью – омут, а не купель...”

Но даже после “смерти” Клюева его книги, наравне с книгами других авторов (подбор у Князева замечательный!) могут послужить, оказывается, своеобразным “пособием”...

“Товарищ, читай книги, написанные до 25-го октября 17-го года – необходимо знать, как нельзя жить и мыслить. Ходи в венерические больницы, дома умалишённых, изучай Достоевских, Толстых, Андреевых, Арцыбашевых, Клюевых... – ибо необходимо перед великой борьбой за обновление человеческой расы (! – С. К.) приобрести потребное для того оружие.

И если перед тобою будут рисовать Русь в виде птицы-тройки, мчащейся неведомо куда и заставляющей все племена и народы почтительно сторониться – вспомни о стомиллионных Индии и Китае, которых признание широкой биологической правды, в ущерб узкой, человеческой, наивысшей для человека, “домчалю” к рабству.

Что такое Китай с его великим Конфуцием? – человеческий навоз! Что такое Индия с её Буддою, йогами и прочими мыслителями и мудрецами? – человеческий навоз!”

Князев распаляется с каждой последующей главой своей книги. Он машет направо и налево шашкой красного кавалериста, отдавая при этом должное и силе противника.

“...И в октябрьских своих взлётах Клюев в юркости, маскарадно-придворной приспособляемости, в мимикрии — не повинен ни душою, ни телом! Он создал свой октябрь, собственный свой, клюевский октябрь (ничего общего с настоящим не имеющий), и начал воскурять фимиамы, бить в било, гимнотворствовать и совершать обрядовые “метания” — перед своим (а не ленинским) октябрём...”

...Самое дорогое для Клюева — святое святых его души — октябрьской, святой революцией — поругано, разрушено, стирается с лица земли!

И это нужно было ожидать, это необходимо было предвидеть, такова природа коммунистической революции...”

“Поругано”, “разрушено”, “стирается”, списано в архив, оставлено, в лучшем случае, как пособие того, “как нельзя жить и мыслить”... Так в чём же опасность?

А вот в чём:

“Пока “богом” пользуются, как пастухом дождевых туч, как скотским ветеринаром, людским знахарем, сельским агрономом и прочее, в той же плоскости — это ничего.

Но когда “бога” пытаются провести в Совнарком, снабдив его соответствующими полномочиями и мандатами от 110-ти миллионов его “рабов и овец”, это уже — катастрофа.

Надо — бить в набат, исследовать и разоблачать...”

Вот она — главная цель сего “исследования”! И продиктована — серьёзнейшей причиной:

“Ибо никогда забывать не нужно: в Рософесоре (по последней переписи) — (данные 1921 года — примечание Василия Князева) — городского населения — 21 миллион, сельского же населения (“рабов и овец”) — 110.000.000 — в пять раз больше! да и среди двадцати миллионов городского населения от “божьей краснухи, кори и скарлатины” избавилась — едва ли только половина; если только не треть...”

И потому:

“Клюевщина” — страшная сила. “Хакки-мистицизм” можно легко победить на протяжении двух, трёх поколений; “клюевщину” (идейно-обоснованную и идейно-порождённую “тягу к богу”, нутряную, корневую потребность в его бытии) придётся выкорчевывать многие десятки лет.

Выкорчевывайте! в то время, как первая “твердыня” — сама собою рассыплется от меча знания — в прах и пыль”.

А вот здесь, видимо, неожиданно для самого себя, Князев сказал сущую правду.

С одной поправкой — выкорчевать так и не удалось.

После очередной волны закрытия и разрушения церковей в конце 1920 — начале 1930-х гг., после лютых репрессий священников, монахов и монахинь, развязанных “ленинской гвардией” после того, как, казалось, православие в России уничтожено и никогда не возродится — во время всеоюзной переписи в ночь с 5 на 6 января 1937 года обнаружилось, что около 60% опрошенных признали себя верующими (из них три четверти — православными). Это не считая тех, кто не обнаружил своего вероисповедания из опаски... Скорее всего, поэтому перепись та была официально признана “дефектной”, а вовсе не из-за “снижения количества населения в результате репрессий” в период коллективизации.

Во время войны открывшиеся церкви были переполнены народом (и отнюдь не только людьми старшего поколения). Солдаты и офицеры, получая партийные билеты, перед боем вспоминали о Боге — и тому масса свидетельств. Дикая судорога закрытия церковей в начале 1960-х годов под аплодисменты так называемых “шестидесятников” также реально ни к чему не привела.

“Клюевщину” так и не “выкорчевали”.

Что-то садомазохистское слышится в ёрничестве этого “члена партии с уклоном к рвачеству”, как охарактеризовали Князева на заседании комиссии РКП(б) по идеологической проверке сотрудников “Красной газеты”: “Русской нации нет, а она существует! Русского патриотизма нет, а он существует!” И носителем русского патриотизма у него является “проклятое, русское, неустанно философствующее, лёжа на извечно обломовском диване, животное!” (Ничто не ново под луной. Примерно того же мы начитались и наслушались на рубеже 1980—1990-х годов!)

...И уже с каким-то суеверным страхом от открывшегося на мгновение ему, Князев словно заклинает в последних строчках своего многостраничного опуса:

“Клюев – умер.

И никогда уже не воскреснет: не может воскреснуть: – нечем жить!”

Троцкий и Князев не только задали дальнейший тон “литературы о Клюеве”. Они создали словарь для этой “литературы” Обозначили все понятийные категории. И (со ссылками или без ссылок) в подобной тональности и фразеологии далее о поэте писалось на протяжении десятилетий. А подхвачено тут же было – в местной вытегорской печати.

...Статья Троцкого “Николай Клюев” была напечатана в “Правде” 5 октября 1922 года. Через 10 дней она была перепечатана в петрозаводской “Карельской коммуне”. А 9 января 1924 года некогда близкий друг поэта Александр Богданов под псевдонимом “Семён Вечерний” печатает уже свою статью – “Правда о Клюеве”.

Ещё какие-то 3 года тому Богданов писал о нём, как о “пророке нечаянной радости”, не скупился на восторженные похвалы: “Ещё не пришло время справедливой оценки поэзии – творчества садовника древесловного дерева, осеняющего избяную дремучую Русь... Но оно придёт... Николай Клюев нашёл в лугах и полях Нечаянной Радости – своё славословие, своё краткое и светлое “Осанна жизни”... В стихах последних годов Клюев становится сыном Протея, перевоплощается то в душу солдатской матери, то лошади... Полны светлых пророчеств последние стихи Клюева, в них нет славянофильского угарного мистицизма, в них всё своё, нигде не вычитанное откровение о мужицком рае... Сердце Клюева соединяет пастушечью правду с магической мудростью, Запад с Востоком, соединяет воистину вздыхание всех четырёх стран света... В его стихах много сокровенного, несказанного, мистического, что потом послужит пищей для будущего... Во веки веков не умрёт русский мужик – Христос. Может быть, за это меня положат на Прокрустово ложе, или предадут литературной смерти, а хакакири поручат произвести Садофьеву... Во имя Солнца, во имя Красоты – это мне не страшно...”

Богданову тогда ничего не было страшно. Вплоть до того, что он решился возвести на высшую ступень самые рискованные мотивы Клюева – в своём понимании: “Эдуард Карпентер, английский Толстой, как назвал его Клюев, в своём глубоком труде “Промежуточный пол” говорит об уранической любви, известной в науке под названием однополю любви и полового извращения. Мировая наука, ещё погрязшая в своей утончённой схоластике, льёт грязь на эту ещё не разрешённую никем тайну человеческого духа. Один лишь Карпентер и ещё немецкие учёные открыли изумлённому миру всю возвышенную чистоту любви уранов-урнинггов. Карпентер приводит имена Александра Македонского, Сократа, Платона, Леонардо Винчи, Шекспира, нашего Чайковского и многих других великих урнинггов старого и нового мира. Много есть уранов и в повседневной нашей жизни, многие насилуют своё чувство, уходят в рабство к женщине... Певцом любви уранов в некоторых своих стихах является и Николай Клюев, один из современных нам великих уранов. Многие последние стихотворения наполнены тоской об Иоанне, красивой тоской Христа о своём духовном сыне...”

Пройдёт немного времени, скажут своё “веское слово” Троцкий и Князев, и для Богданова “придёт время” сказать “правду о Клюеве”. Правду “марксистскую” – ибо другой нет и быть не может.

Уже добром вспоминается статья Бессалько в “Грядущем”. Уже, как пример марксистской критики, упоминается работа Троцкого. Уже расхваливается князевская книжка и пересказывается целыми фрагментами. И, наконец, собственная “справедливая оценка”:

“Клюев последнего периода с гомосексуальными радостями (однополая любовь), с прославлением скопчества – живой труп для новой России. Некогда большой художник бесславно погиб ещё на патриотических концертах Долиной, в салоне графини Игнатъевой, у ног Николая Кровавого в Царском Селе (и это всё было списано у Князева – С. К.).

Желательно, чтобы наша молодёжь (не мешая и взрослым) познакомилась с книгой Князева, дающей верное представление о творчестве “ржаного апостола” – Николая Клюева”.

Трудно сейчас сказать, дошло ли до Клюева, живущего в Петрограде, это “отречение” близкого товарища, которому он посвятил некогда стихи “Львиного хлеба”:

*Женилось солнце, женилось
На ладожском журавле.
Не ведалось и не снилось,
Что дьявол будет в петле...*

Ладожский журавль – сам поэт. Невесту, по старому обычаю, вели, накиннув ей на шею ширинку, и со стороны казалось, что шею суженой обнимает петля... И дьявол – тут проступает совершенно непредсказуемый смысл образа – тот же поэт в “рисовке” адресата тех, не столь уж давних, строк.

Троцкого-то Клюев читал, и Ваську Князева и слушал, и читал потом... И уж наверняка в “Последних новостях” попалась ему на глаза статья Георгия Устинова “Литературный разброд”. Того самого Устинова, который буквально облизал во все места Троцкого в брошюре “Трибун революции”. И “джентельмен”, и “пламенная карающая десница”, и “горьковский Данко”, и “экстракт организованной воли”... Вот как надо уметь – куда там самому Демьяну, что “с книжной выручки... подавился кумачным хи-хи”, как написал Клюев в “Воздушном корабле” и напечатал в “Песнослов”. В “Ленине” же это стихотворение было изменено до неузнаваемости по требованию Ионова, и всякое упоминание о Демьяне пришлось выбросить.

А здесь Устинов в выражениях тем более не стеснялся:

“Психо-бандитизм, основание которому положил интереснейший, но пропащий поэт Сергей Есенин, идёт развёрнутой цепью по всей линии... Сергей Клычков, Николай Клюев, Пётр Орешин, А. Ширяевец и другие “крестьянские” поэты принесли из своих деревень психику деревенского “хозяина”, анархиста и “самоеда”, которому свой забор дороже всех наук, философий и революций. И это они знают, как знает прокажённый, что он болен и что его не может излечить ничто...”

Те, которые идут сейчас в литературном разброде, будут идти мимо жизни до тех пор, пока не воспримут новой материалистической культуры. Они попадут между жерновов, будут стёрты, прах их развеется по ветру, и о них не будет помнить даже последующее подрастающее поколение...”

Клюев уже давно не питал никаких иллюзий, и здесь отдавал себе полный отчёт в том, что время необратимо изменилось и эпоха “Львиного хлеба” – эпоха горячей открытой полемики, очевидного для всех утверждения своих ценностей, антикиплинговской антиномии “Восток-Запад”, борьбы живого слова с мёртвым, бумажным – проходит, если уже не прошла совсем. Что-то надорвалось в нём – и нужно было время, чтобы заново собрать себя и определить свой дальнейший путь.

Наступил период его поэтического молчания – единственный за всю творческую жизнь. Почти 3 года – с последних месяцев своей жизни в Вытегре он не мог написать ни единой стихотворной строки.

Одновременно с “Ржаными” князевскими “апостолами” вышла, наконец, книжка “Ленин”, давно поэтом пережитая. Стихи “ленинского цикла” из “Песнослава” он соединил в ней с отдельными стихотворениями “Львиного хлеба” и некоторыми, ещё более ранними. Там же впервые было напечатано стихотворение двухлетней давности, где в предпоследний раз вождь появился в клюевских стихах – уже в траурном ореоле.

*Ленин на эшафоте,
Два траурных солнца — зрочки,
Неспроста журавли на болоте
Изнывают от сизой тоски.*

*И недаром созвездье Оленя
В Южный Крест устремило рога...
Не спасут заклинанья и пени
От лавинного злого врага!*

*Муравьиные косные силы
Гасят песни и пламя знамён...*

После неминуемой гибели вождь растворяется в природной стихии, уже не творя новый мир, а исчезая в старом.

*Ленин — птичья октябрьская тяга,
Щедрость гумен, янтарность плодов...
Словно вереск, дымится бумага
От шаманских, волхвующих слов.*

*И за строчками тень эшафота —
Золотой буреломный олень...*

...Пройдёт 5 лет, и Клюев уже в “Песни о великой матери” вспомнит и “олонецкого журавля”, и дьявола в петле, и свою книжку “Ленин” в покаянных стихах:

*...Без журавля пусты страницы...
Увы... волшебный журавель
Издох в октябрьскую метель!
Его лодыжкой в запал
Я книжку /” Ленин”/ намарал,
В ней мошкара и жуть болота.
От птичьей желчи и помёта
Слезами отмываюсь я
И не сковать по мне гвоздя,
Чтобы повесить стыд на двери!..
В художнике, как в лицемере,
Гнездятся тысячи личин,
Но в кедре много ль сердцевин
С несметною пучиной игол? —
Таков и я!..*

21 января страну оледенит весть о смерти Ленина, Ионов тут же запустит клюевскую книжку снова в печать — и одно за другим выйдут ещё два её издания... А Николай, сидя в своей “горнице” за чашкой чая под иконой Спаса, заведёт с новым знакомым Иннокентием Оксёновым занятный разговор. Оксёнов спросил, что Клюев думает о смерти Ленина. Тот помолчал-помолчал и произнёс:

— Роковая смерть. До сих пор глину месили, а теперь кладут.

— А какое уж здание строится? Уж не луна-парк ли?

— А как же? Зеркала из чистого пивного стекла. Посмотри кругом, разве не так?

Всё было не просто “так”. Ещё хуже.

Окончание гражданской войны и эпохи самогонварения ознаменовалось ликвидацией “сухого закона”. Пьянство вошло в быт. В быт же вошло вольное отношение к женщине, как знак “всеобщего освобождения”.... Групповое изнасилование в Чубаровском переулке, прогремевшее по всем газетам, было лишь одним из многих.

(Это не только “вошло в поговорку” из старых времён. Это мы тоже наблюдали в эпоху “демократической революции”).

Страна выползала из “горячей стадии” гражданской войны, как тяжело раненый и обезумевший зверь. Скорее всего, последствия были бы куда менее тяжёлые, если бы после чудовищного кровопролития, после войны “брат на брата” и “сын на отца”, израненные, изуродованные души могли бы найти пристанище в церкви, в молитве... Но и этот путь был заказан. Особенно, для молодёжи, которая наслаждалась самой возможностью “залезть на небо” и “разогнать всех богов”. Да и само по себе приобщение к храму в создавшейся атмосфере отдавало в глазах многих явной “контрреволюционностью”.

Душу лечить было нечем. А запах крови преследовал. И пошло-поехало...

Разгромы только народившихся частных магазинов... Налёты и нападения на сторожей... Убийства из-за угла... Похождения “сыщиков розы” Лёньки Пантелеева, бывшего чекиста, вошедшего во вкус кровавого разгула и лёгких денег, романтизировались и сладким шёпотом пересказывались как в подвалах и подворотнях, так и в “интеллигентных” квартирах... Подражателей нашлась масса.

И всё это — под пьяный крик или вполне трезвое восклицание: “За что боролись?!” В самом деле, за что — если наружу вылезло рыло “нэпмана”, “совбура” — советского буржуя?..

Веру в происходящее и смысл жизни теряли совсем молодые люди. “Красная газета”, издававшаяся в городе, уже переименованном из Петрограда в Ленинград, из номера в номер печатала извещения:

“Отравилась Анна Меркулова 19 лет.”

“С целью самоубийства ранила себя в голову выстрелом из револьвера Евгения Лурье 19 лет”.

“Отравилась Елизавета Русецкая 18 лет”.

“Отравилась Маргарита Кавардеева 20 лет”.

“Отравилась Александра Исполнова 20 лет”.

“Отравилась Александра Чеснокова 30 лет”.

“Бросился со льда в полынью неизвестный мужчина. На вид ему около 25 лет”.

“Отравился Павел Тулин 24 лет”.

Похожая картина была перед Первой мировой войной, когда среди молодёжи — причём, молодёжи не бедной, состоявшейся, “интеллигентной” — расцвёл самый настоящий культ самоубийства — как некоего “недоживания” до худших времён, по примеру так же “не доживавших” в античную эпоху. Чтение Брюсова, Сологуба, Кузмина, расходившиеся кругами истории самоубийства Надежды Львовой, Всеволода Князева, Ивана Игнатьева — также весьма способствовали нагнетанию соответствующих настроений.

Теперь же причиной были полная потеря почвы под ногами и непреодолимое чёрное отчаяние.

Всё чаще говорят газеты:

Самоубийцы тот — да эти.

В пятнадцать лет отравы слёз,

А в двадцать пуля и наркоз,

Под тридцать сладостна петля, —

С надрезом шея журавля...

Эти строки Клюев напишет через пять лет в поэме “Каин”, уже после гибели Есенина.

А живой ещё Есенин появится в Ленинграде в середине апреля 1924 года. И встреча с ним не доставит Клюеву большой радости.

...Тяжело было смотреть Николаю на Есенина, выступавшего в Зале Лас-салья (бывшем зале Городской Думы). Общение поэта с залом едва не кончилось диким скандалом. Сергей начал вещать, как при первом появлении в Петербурге ходил в мужицких штанах и сапогах — а теперь ходит во фраке. Вспомнил мимоходом про Клюева и Чапыгина, крикнул, что Блок и он, Есенин, “первые пошли с большевиками” — и что, дескать, за это получили? Фрак-фраком, а жизнь хреновая, к поэзии отношение свинское, власть сучья и кругом — жида... Зал уже начал реветь от возмущения, как Есенин вдруг оборвал свой “монолог” и крикнул: “Буду читать стихи! “Москву кабацкую” хотите?” И — “врубил” без перехода, да так, что публика после каждого стихотворения редела уже от восторга... Клюев, бледный, напряжённый, “любовался” всей этой картиной молча, лишь раз промолвил: “Не кобенился бы... Сам знает ведь, что им нужно...” Кто-то, сидящий рядом, начал поддакивать, но Клюев уже взъерепенился: “Молчали бы... Сами пишете по-татарски, не то, что он”, — и кивнул головой в сторону сцены... А потом наблюдал, как взбудораженная толпа выносила Есенина на руках.

“Эх, Серёжа, Серёжа, а слава-то кабацкая, стихам твоим нынешним под стать...”

А Есенин словно нарочно поддразнивал.

В бывшей студии Виктора Шимановского, ныне в центральной студии Политпросвета, при старых клюевских друзьях и в присутствии самого Нико-

лая он, явившийся в сопровождении своей свиты – ленинградских имажинистов – тут же уступил им инициативу, и они дочитались до того, что их начали попросту гнать из зала и требовать, чтобы читал один Есенин... Сергей приосанился и вышел на сцену, попросту объяснился с собравшимися, что, вот, дескать, тут Клюев меня считает своим – а я никакой не крестьянский поэт. Друзья-имажинисты считают своим – а никакой я не имажинист. Просто поэт – и дело с концом. И, конечно, каждое стихотворение его сопровождалось громом аплодисментов.

А вслед за аплодисментами – очередная серия скандалов.

В Москве он уже несколько раз побывал в отделениях милиции – спровоцировать горячего, взрывного Есенина было в этот период – период, когда его не оставляло обострённое ощущение себя как “иностранца в собственной стране”, – было проще пареной репы. То же продолжилось и в Ленинграде. Нечистый занёс поэта в “ложу вольных строителей”, организованную актёром Александринки Ходотовым на своей квартире. Там какой-то тип привязался к Сергею: “Ты жидов ругаешь? Получай!” Естественно, всё закончилось грандиозной дракой. То же повторилось и в одном из кабаков, когда Есенин лишь чудом остался жив – его по счастливой случайности не прирезали... Клюев, узнавая об этом, лишь качал головой, опустив руки. Сбылось самое худшее – в его представлении.

А Сергей просто не мог найти себе покоя. Владимир Чернявский вспоминал, что Есенин крайне непризненно отзывался в этот приезд и о Москве, и о своей московской славе. “...Говорил о том, что всё, во что он верил, идёт на убыль, что его “есенинская” революция ещё не пришла, что он совсем один...” Сквозь поток второпях выброшенных слов вырвалось: “Если бы я не пил, разве мог бы я пережить всё, что было?” “И тут, в необузданном вихре, – продолжал Чернявский, – в путанице понятий закружилось только одно ясное повторяющееся слово:

– Россия! Ты понимаешь – Россия!

В этом потоке жалоб и требований были невероятный национализм, и полная растерянность под гнётом всего пережитого и виденного, и поддерживаемая вином донкихотская гордость, и мальчишеское желание драться, но уже не стихами, а вот этой рукой...”

– Что ж, – говорил сумрачный Клюев. – Ведь он уже свой среди проститутток, гуляк, всей накипи Ленинграда. Зазорно пройтись вместе по улице.

Он словно не видел, как слетала с Сергея вся накипь, как становился совершенно иным его бывший друг. “Куда там богемная манерность, кабачковый стиль, – чудесный, простой, сердечный человек”, – так передавал тогда же своё впечатление от Есенина один из случайных знакомых.

Есенин в эти дни обдумывал “Песнь о великом походе”, где собирался из Петра 1 “большевика сделать”... Не он был первый на этом пути – у Волошина уже отточилась формула: “Великий Пётр был первый большевик...” И есенинский Пётр, в конечной редакции любующийся “на кумачный цвет на наших улицах”, естественно, не мог быть принят Клюевым, что написал уже об императоре как о “барсе диком”... А поглубже заглянуть – так ведь и прав Есенин. Всепянейший синод, непристойные имитации Евангелия и креста – не воскресли ли они в “октябринах” и “комсомольском рождестве”?

...Сидя у Иннокентия Оксёнова, Есенин рвался читать Языкова... В контексте разговора, где он жаловался, что чувствует себя в России как в чужой стране, а за границей было ещё хуже, что “Россия расчленена”, и это больно осознавать любому великороссу – нетрудно предположить, что очень хотелось Сергею прочесть вслух для себя и для окружающих знаменитое языковское “К не нашим”.

*О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!*

.....
*Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,*

*Вы все — не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство...*

.....
*Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!*

Ближе, ближе он был в своих душевных сопереживаниях Ключеву, чем сам хотел в этом признаться даже самому себе... И чем больше чувствовал он это — тем демонстративно пытался от Ключева оттолкнуться, Ключеву поперечить, особенно на людях.

Уехал. И вернулся в Ленинград в середине июня, предварительно написав Николаю о своём приезде.

* * *

“Ленин” Ключева — образец того, что получается, когда Ключевы берутся за такие темы, которых они не могут понять. “Ленин” у Ключева своеобразный. Это и “красный олень в новобрачном сказаньи”, и сын богоматери, “он мычит Ниагарой в ноздрях Ливерпуль”.

Во всяком случае это не тот Ленин, которого мы знаем и любим. У Ключева это не Ленин, а Антиленин, как сказал о книжке Ключева тов. Троцкий.

Может быть, по Госиздату Ключев даёт своеобразное толкование “Ильича”, может быть, уже хорошо то, что пишет о Ленине, может, это революция в Ключеве. Но нам эта книжка не нужна, не понятна и рекомендовать её, конечно, нельзя...”

Читать это “творение” Александра Исбаха в “Книгоноше” было уже делом привычным. Не он один вещал о “ненужности” и “непонятности” Ключева. Но слушать подобные же речи от дорогого по-прежнему и ставшего таким чужим Серёженьки...

Появился Есенин — и на следующее же утро отправился к Ключеву. Через несколько лет Николай нехотя рассказывал об этом свидании Анатолию Яру-Кравченко с интонациями “Бесовской басни про Есенина”.

— Я растоплял печку. Кто-то вошёл. Я думал, что Коленька (Архипов, переехавший к этому времени в Ленинград и часто видевшийся с Ключевым — **С. К.**), гляжу — Есенин, в модном пальто, затынут в талию. Поверх шарф шёлковый... Весь с иголочки, покрашен, одним словом, такой, каких держат протитутки...

— Ну что же, расцеловались?

— Да, конечно. Он удивился, что я такой же, а он себя растерял...

Есенин, конечно не считал себя “растерявшим”. Скорее, о Ключеве полагал, как о “закосневшем”.

Как вспоминал новый знакомый Николая Игорь Марков — “поэт появился как-то неожиданно, оживлённый, с улыбающимися серо-голубыми глазами и чуть рассыпавшимися волосами. После приветствий и первых радостей встречи между давними друзьями возник спор, такой же внезапный, каким было появление Есенина в тесной комнате на Морской”.

А для них обоих не было ничего “внезапного” — продолжился разговор, начатый ещё в Москве, где ничем закончилась есенинская затея собрать за-

ново, “в семью едину”, “крестьянскую купницу”. Николай, глядя на модный костюм Сергея, напомнил ему, словно кто за язык дёрнул, строки из “Четвёртого Рима”: “Не хочю быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу...” Есенин побелел от злости. И бросил в ответ, потом прочно к Клюеву прилипшее:

– Ладожский дьячок!

Поперхнулся Николай... Тут же пришёл в себя и снова пытался читать самое язвительное из старой поэмы. И снова оборвал Есенин:

– Прекрати! Брось своё поповство! Кому это сейчас нужно?

“А ведь тебе было когда-то нужно, Серёженька! Льнул, как к горнему ключу. И что же с тобой стало?”

А Серёженька уже тяжело пережил внезапную смерть Ширяевца. Поминки по нему вылились у многих в пьяную истерику, но что-то страшное, тревожное, отчаянное слышалось в перекрывающем всё и всё есенинском голосе, когда поэт кричал, что пропала деревня, что из неё вытраивается всё русское. В ответ раздалось: “Цела деревня! Цел русский народ!” “Нет! – отвечал Есенин. – Гибнет деревня”, и слышал: “Это наше время. И нет нашему творчеству никаких помех”. “Есть, – снова кричал Есенин. – Город, город проклятый...”, и, уже уходя, слышал, как кто-то затянул “Вечную память”, которую заглушили “Интернационалом”.

С разорванной душой приехал. Но с Клюевым так по душам и не поговорил.

...Отправились обедать к Сахарову, у которого Есенин остановился... Завели речь об антологии крестьянской поэзии – Сергей всё никак не мог расстаться с этой мыслью “объединения”, хоть под разовой обложкой... И читали стихи – каждый читал предназначенное для этой антологии. Клюев – старое, любимое некогда “отроком вербным”... “Умерла мама” – два шелестных слова. Умер подойник с чумазым горшком, Плачется кот и понура корова, смерть постигая звериным умом... “Мама в раю – запоёт веретёнце, – нянюшкой светлой младенцу Христу...” Как бы в стихи, золотые, как солнце, впрясть волхованье и песенку ту?..” И словно в контраст с прочитанным – своё громкоподобное “Меня Распутиным назвали...”, когда с особым нажимом для собравшихся прозвучало: “Что миллионы чарых Гришек за мной в поэзию идут...” Есенин же читал одно из последних своих стихотворений – тех, что Клюев на дух не принимал... “Не храпи, запоздалая тройка! Наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка успокоит меня навсегда...” Не принимать – не принимал, а Сергей, зная это, будто подчёркивал свою “непропасть”: “Может, завтра совсем по-другому я уйду, исцелённый навек, слушать песни дождей и черёмух, чем здоровый живёт человек...” Каждый вкладывал в чтение своё, должно быть понятным “старым другом”... Игорь Марков прочёл сказку-наигрыш “Колобок-скакунок”, и Клюев посоветовал изменить конец – и продиктовал, как именно... Тут-то и ввалились ленинградские “имажинисты” Эрлих со Шмерельсоном и наперебой начали заявлять, что идея никчёмная и несовременная... Смотрел-смотрел Клюев на есенинских “гришек”, – один из них, не выходя в дверь, спустился по водосточной трубе – спичек купить – дождался, когда уйдут, и спросил Сергея в лоб: “Почему не можешь расстаться с ними?” А Есенин в ответ лишь ухмыльнулся:

– А кто ж за спичками бегать будет?

Расстаться-то он с ними – уж давно расстался. И когда ему в этот приезд Садофьев напомнил об имажинистском бытии – от досады аж прикинулся непонимающим: “Имажинизм? А разве был такой? Я и думать о нём забыл...” И рассердился вконец: “Ну да, было время... Озорничали мы в своё удовольствие... Мещанство били в морду, образом хлестали... Дым коромыслом стоял... А кому он сейчас нужен, этот имажинизм? Чувь всё это собачья! Ска-тертью ему дорога!.. У них вся их образность от городской сутолоки, у меня – от родной Рязанщины, от природы русской. Они выдохлись в своём железобетоне, а мне на мой век всего хватит...”

Сидя в доме у ещё одного ленинградского представителя “воинствующего ордена имажинистов” Лёни Турутовича, писавшего под псевдонимом “Владимир Ричиоти”, Есенин, по воспоминаниям последнего “светился покоем и вдохновением” и говорил с каким-то душевным подъёмом:

– У меня и слава, и деньги, все хотят общения со мною, им лестно, что

я в чужом обществе теряюсь и только для храбрости пью. . . Быть может, в стихах я такой скандалист потому, что в жизни я труслив и нежен. . . Я верю всем людям, даже и себе верю. Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь, быть может, потому я и захлёбываюсь песней, что жизнь с её окружающими людьми так хорошо меня приняла и так лелеет. Я часто думаю: как было бы прекрасно, если бы всех поэтов любили так же, как и меня. . . Теперь я понял, чем я силен — у меня дьявольски выдержанный характер. . .

Клюев не слышал подобных есенинских слов. И в общении с ним Есенин теперь шёл скорее на конфликт, чем на согласие. И “выдержанность характера” куда-то мгновенно улетучивалась.

И Николай, также навестивший Ричиотти, говорил о наболевшем. И слушал его молоденький Борис Филистинский, позже оставивший яркую зарисовку поэта, вошедшего в свою золотую пору.

“Лицо умного мужика, но не пахаря, а скорее мастера-умельца, такого сельского плотника-зодчего, что без единого железного гвоздя сможет построить многоглавую церковь в Кижях, или мастера железного или гончарного художества. Очень уж потёрт кафтан и шапка гречневиком, огромный староверский медный крест на груди. Маскарад? Да перед кем ему, Клюеву, сейчас ломать комедь?.. Мы все были одеты — кто во что горазд, и моя, например, толстовка из цветной плотной гардины не привлекала ничего недомоленного взора. Нет, одежда Николая Клюева не казалась нам никак — никакой костюмировкой. . . Вкусный, окающий несколько карельский рот под свисающими усами энергичного унтера. Певучие строки вьются и свисают с колечками крутой махорки. . .” Клюев сам никогда не курил, но, видимо, сейчас терпел привыкших к табачному яду. И вещал, слегка растягивая слова.

— Не против города и Запада я, а против разделения китайской стеной духа и материи, души и плоти, мысли и делания. Вот, как у Фёдорова, он ведь кругом прав: коли разделились так у нас труд и мысль, идея и дело, все науки и искусства не хотят друг дружку знать, — то и получается, как говорил он: при таком разделении психология не была душой космологии, то есть была наукой о бессильном разуме, а космология — наукой о неразумной силе. А всё — от злой силы *небратства*. Искусство, поэзия всё-таки выше пока, чем научное знание: всё-таки говорит о целом и живом, а не о частичном и отгороженном. Но и они начинают атомизироваться. А ведь мир и я — одно: ни я поглощаю мир, ни мир поглощает меня: одно ведь это, и лишь раскрывается как я — не-я — в истории, в моей жизни — и в веках. В любви материнской, в соитии любовном, в блюде и святости, в порождении. . . — И через много лет, изучая и описывая Клюева, Филистинский (уже под именем “Филиппов”) приводил слова самого Николая Фёдорова, как подтверждение клюевским словам: “. . . Знание, лишённое чувства, будет знанием причин лишь вообще, а не исследованием причин неродственности, а не проектом восстановления родства. . .”

. . . Николай читал “Белую повесть”, а знающие его поэзию могли тут вспомнить строки, которые в этом контексте лишены всякой гордыни:

*Я — посвящённый от народа,
На мне великая печать,
И на чело своё природа
Мою прияла благодать...*

. . . — И задача наша, и цель наша — история не как мнимое воскрешение в *воспоминании* только, а как прямое воскрешение во плоти и в духе всех отцов и матерей наших. . . — повторял он Фёдорова.

А в следующий раз, встретившись с Филистинским, промолвил, вспомнив злые слова Есенина и многих писавших о нём как о покойнике, промолвил, перекрестившись:

— Было всякое. Всяко и будет. Не в прошлое гляжу, голубь, но в будущее. Думаешь, Клюев задницу мужицкой истории целует? Нет, мы, мужики, вперёд глядим. Вот у Фёдорова, — читал ты его, ась? — “город есть совокупность *небратских* состояний”. А что ужасней страшной силы небратства, нелюбви?..

И что бы ему так поговорить с Есениным! И что бы Есенину ответить добрым, искренним словом, высказать, что на душе! Так нет же. . . Перед чужими, фактически чужими, исповедуются, а не друг перед другом.

Знают хорошо друг друга. Знают, кто чем дышал раньше, знают, кто чем дышит ныне. Все слова вроде уже были сказаны. Сказаны, выходит, да не услышаны. Каждый гнёт своё. Вот и сменилась прежняя любовь *небратством*.

Лев Клейнборт вспоминал, как встретился с Есениным, выходящим из ленинградского отделения Госиздата... Сергей вспомнил свои старые стихи “Теперь любовь моя не та...” и тут же начал уверять собеседника, что “Клюев уже во втором томе “Песнослава” погубил свой голос, а теперь он – гроб”. Точь-в-точь книжку Князева только что прочитал... И на ходу пересказывает.

А Клейнборт вспомнил свои встречи с Клюевым, подаренный ему “Четвёртый Рим” и слова Клюева, что Есенина уже нет, что есть только лишь бродяга, погибающий в толпе собутыльников, изменивший “отчому дому”...

“Это было то же, что доказывал Клюев о нём, – писал позднее Клейнборт. – И тот же был холод. Вот что было страшнее и его пудры, и его завитых волос... В самом деле, не Мариенгоф, не Шершеневич, не Дункан же дадут ему теплоту, без которой душа вянет, тускнеет, даже душа поэта...”

Ни Мариенгофа, ни Шершеневича, ни Дункан уже рядом не было. Клюев – был. Но от его присутствия было не легче. В Госиздат они пришли вдвоём – за экземплярами “Москвы кабацкой”, вышедшей отнюдь не под маркой Госиздата (дабы издательству не было излишних неприятностей), – самой неприемлемой из всех есенинских книг для Клюева...

Сидя у Оксёнова, Есенин слушал клюевские жалобы: заставляют писать весёлые песни, а это всё равно, как если бы Иоанн Гус плясал трепака на Кёльнском соборе или протопоп Аввакум пел на костре “Интернационал”... А всё Ионов – сволочь... Есенин от своих тяжких дум не мог избавиться – но тут встрепенулся и, словно назвал и Клюеву, и себе самому, начал хвалить Троцкого за то, что тот – “националист”, как и он сам, ИONOва, который хоть из польских евреев, но нет в нём ничего еврейского. Принялся читать стихи. Начал с “Руси советской” (“И это я! Я – гражданин села, которое лишь тем и будет знаменито, что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита...”), продолжил уже только что написанным посвящением Ионову, с которым договаривался о новом издании:

*Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь.
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.*

И, кожей чувствуя неодобрение молчащего Клюева, заявил, что не желает отражать крестьянские массы, не хочет надевать хомут Сурикова или Спиридонова Дрожжина... Бил в самое больное место – ни Суриков, ни Дрожжин никогда не были для Клюева авторитетами, и Есенин прекрасно это знал. Но выходило так, словно Клюев пытался надеть на него этот самый хомут.

В 20-х числах июля Николай уезжал в Вытегру. Провожали его Есенин, Приблудный, Игорь Марков, Павел Медведев и Алексей Чапыгин. Последний вспоминал потом, как они с Есениным “по темноте... вышли... на Воскресенскую набережную за Литейным проспектом. Отыскали пароход и каюту, но Клюева ещё не было. С. А. сказал.

– Пойдём в буфет и выпьем!...

С. А. сказал, что уезжает ненадолго в Москву, а оттуда на Кавказ. На пароход пришёл Клюев – мы сидели в его каюте, потом пошли по Литейному мосту и к Летнему саду. С. А. повёл нас на летнюю пристань в буфет. Было уже поздно – я простился, не пошёл на пристань. Они остались сидеть вдвоём. После, когда вернулся из Вытегры Клюев, я спрашивал его, как они провели время.

– Хорошо! Серёжа много читал хороших стихов, пили немного”.

Расстались они всё же не так благостно.

Когда Есенин встретился один на один с Клейнбортом и тот спросил у него – виделся ли он с Клюевым – Сергей опустил голову, задумался, а потом вымолвил с сожалением в голосе:

– Да... Бывают счастливыцы.

В “счастливыцы” зачислил Николая – есть у того на что опереться, чего нет уже у Есенина, “в родной стране иностранца”... И есть же у этого “иностранца” то, чего нет у Клюева: “коммуной вздыбленная Русь”. А клюевский “красный государь Коммуны” мхом давно порос...

Клюев же писал из Вытегры теще Николая Архипова, Пелагее Васильевне Соколовой:

“От тихих богородичных вод, с ясных, богатых нищетой берегов, от чаек, гагар и рыбьего солнца — поклон вам, дорогие мои! Вот уже три недели живу как во сне, переходя и возносясь от жизни к жизни. Глубоко-молчаливо и веще кругом. Так бывает после великой родительской панихиды... Что-то драгоценное и невозвратное похоронено деревней — оттого глубокое утро почило на всём — на хомуте, корове, избе и ребёнке. Со мной беленький, как сметана, Васятка, у него любимая игрушка лодка, возит он меня на окуний клёв по богородичным водам к Боровому носу, где живёт и, не мучаясь ясно, двенадцатый век, льняная белизна и сосновая празелень с киноварью и ладаном. Господи, как священно-прекрасна Россия, и как жалки и ничтожны все слова и представления о ней, каких наслушался я в эту зиму в Питере! Особенно меня поразило и наполнило острой жалостью последнее свидание с Есениным, его скрежет зубовый на Премудрость и Свет. Об этом свидании расспросите Игоря — он был свидетелем пожара есенинских кораблей. Но и Есенин с его искусством, и я со своими стихами так малы и низко-презренны перед правдой прозрачной, непроглядно-всебытной, живой и прекрасной. Был у преподобного Макария — поставил свечу перед чудным его образом — заплакал за вас и за себя, сегодня ухожу в Андомскую гору к Спасу, чтоб поклониться Золотому Спасову лику — Онегу, его глубинным святыням и снам...”

* * *

Когда Клюев говорил, что его заставляют писать весёлые стихи, то есть стихи, воспевающие современность, он имел в виду именно ИONOва, с которым не единожды имел беседы на эту тему, и потому есенинские похвалы этому прожённому издателю были для него особенно нестерпимы. Нина Гарина запомнила клюевский рассказ о посещении ионовской обители и воспроизвела его, особенно упирая на интонацию рассказчика.

— ВхОжу этО я к нему в кОбинет... А кОбинет-тО у негО грО-Омадный... А мебель-тО у негО вся пОрчёвая... А ОбстОнОвка-тО у негО вся шикарная... А занавеси-тО у негО бархОтные. А в углу-тО у негО гитара едрёнОя, с лентОчками... А на стОле-тО какоО, да булОчки-тО сдОбные.

А на стОлах-тО... Да на пОлках-тО, да на полу-тО — книги, да книги разлОженные... А бумага-тО в них пергаментная... А края-тО, края-тО в них зОлОчёные. А внутри-тО в них всякая егО-тО дрянь напечатОннОя...

А сам-тО Он в кресле мягкОм, глубОкОм сидит и еле-еле слОва-тО мне, бездОрь этОкОя цедит...

А мОи-тО... Мои-тО стихи — так печатать и не думает.

Гариной было невероятно смешно. Она наслаждалась этой беседой, как хорошим спектаклем.

— Ну и как же решили? — подначила.

— ЧегО тут решили?! “Не мОгу”, говорит, “издОвать!.. Бумаги нет!.. Не хвОтает!..” А бумага-тО вся на егО-тО дрянь тОлькО и идёт!

Гарина продолжала хохотать. Клюев не мог взять в толк — чего здесь смешного.

А когда мадам увидела под пиджаком у поэта “поповский”, как она выразилась, крест, так её всю затрясло от смеха.

“Клюев, не поняв, в чём дело, и решив, что я вновь переживаю его рассказ, вдруг преподнёс: “бездОрь этОкОя”...”

Клюев прекрасно понял, в чём дело. И “бездОрь” относилось уже к самой Гариной.

Когда же он узнал, что за очередным накрытым столом хозяйка вволю потешила собравшихся рассказом о клюевских злоключениях и о его кресте под дружный хохот и что находившийся среди гостей Георгий Устинов, определивший Клюева в литературный обоз и обрекший его “на погибель” (вместе с Есениным), предложил “крест у Клюева Отнять, купить выпивки и выпить за здоровье “нОвОявленного батюшки” — раз и навсегда перестал бывать в этом доме.

В Ленинграде повторялось то же, что и в Москве. Говорил с Воронским о возможности издания “Львиного хлеба” в “Круге”. И услышал:

– Да человек-то вы совсем другой.

– Совсем другой. Но на что же вам одинаковых-то человек? Ведь вы не рыжих в цирк набираете, а имеете дело с русскими писателями, которые, в том числе и я, до сих пор даже и за хорошие деньги в цирке не ломались.

– А нам нужны такие писатели, которые бы и в цирке ломались, и притом совершенно бесплатно.

Этот критик, имеющий репутацию культурного человека, явственно намекал, что, дескать, знаем мы тебя, “рыжего”, в твоём крестьянском зипуне да в смазных сапожках. Никуда не денешься, поломаешься вместе с остальными.

И здесь та же картина – в Союзе писателей, полноправным членом которого стал Клюев.

“Страшное, могильное впечатление от Союза писателей. Какие-то выходцы с того света. Никто даже не знает друг друга в лицо... Что-то старчески шамкает Сологуб. Гнило, смрадно, отвратительно...” – записывал в свой дневник Иннокентий Оксёнов.

Близкое к этому впечатление было и Клюева. Архипов записал отдельные характеристики писателей, с которыми Николай частенько встречался в то время.

“Был у Тихонова в гостях, на Зверинской. Квартира у него большая, шесть горниц, убраны по-барски – красным деревом и коврами; в столовой стол человек на сорок. Гости стали сходитья поздно, всё больше женского сословия, в бархатных платьях, в сунсах и соболях на плечах, мужчины в сюртуках, с яркими перстнями на пальцах. Слушали цыганку Шишкину, как она пела под гитару, почитай, до 2-х часов ночи.

Хозяин же всё отсутствовал; жена его, урождённая пани Неслуховская, с таинственным видом объясняла гостям, что “Коля заперся в кабинете и дописывает поэму” и что “на дверях кабинета вывешена записка “вход воспрещён”, и что она не смеет его беспокоить, потому что “он в часы творчества становится как лютый тигр”.

Когда гости уже достаточно насиделись, вышел сам Тихонов, очень томным и тихим, в тёплой фланелевой блузе, в ботинках и серых разутюженных брюках. Угощение было хорошее, с красным вином и десертом. Хозяин читал стихи “Юг” и “Базар”. Бархатные дамы восхищались им без конца...

Я сидел в тёмном уголку, на диване, смотрел на огонь в камине и думал: “Вот так поэты революции!...”

“Н. Тихонов довольствуется только одним зерном, а само словесное дерево для него не существует. Да он и не подозревает вечного бытия слова”.

“Стихи Рождественского гладки, все словесные части их как бы размерены циркулем, в них вся сила души мастера ушла в проведение линии.

Не радостно писать такие рабские стихи”.

“Глядишь на новых писателей: Никитин в очках, Всеволод Иванов в очках, Пильняк тоже, и очки не как у людей – стёкла луковицей, оправа гуттаперчевая. Не писатели, а какие-то водолазы. Только не достать им жемчугов со дна моря русской жизни. Тина, гнилые водоросли, изредка пустышка-раковина – их добыча. Жемчуга же в ларце, в морях морей, их рыбка-одноглазка сторожит”.

“Накануне введения 40-градусной Арский Павел при встрече со мной сказал: “Твои стихи ликёр, а нам нужна русская горькая да селёдка”.

“Бедные критики, решающие, что моя география – “граммофон из города”, почерпнутая из учебников и словарей, тем самым обнаруживают свою полную оторванность от жизни слова”.

Были, впрочем, в Ленинграде поэты, с которыми Клюев, мнилось, находил общий язык. Так, он заново встретился с Кузминым, который ничего не внулал ему, кроме отвращения, в 1910-х годах.

“Был с П. А. Мансуровым у Кузмина и вновь учуял, что он поэт-кувшинка и весь на виду, и корни у него в поддонном море, глубоко, глубоко”.

Возможно, такое впечатление произвели на Клюева стихи Кузмина из книги “Параболы”. А может быть, Кузмин читал в его присутствии свои тайные сочинения “Декабрь морозит в небе розовом...” или “Не губернаторша сидела с офицером...”

Вокруг Клюева толпятся совсем уж неожиданные персонажи – обериуты Даниил Хармс и Александр Введенский, Константин Вагинов, к стихам которого Николай Алексеевич проявляет повышенное внимание, сочетающееся

с точным пониманием ограничений молодого поэта. “У Садофьева и Крайского не стихи, а вобла какая-то, а у Вагинова всё — старательно сметённое с библиотечных полок, но каждая пылинка звучит. Большего-то Вагинову как человеку не вынести”. Сердечные отношения складываются с Николаем Браунном и его женой Марией Комиссаровой. . .

Клюев — не просто известная фигура, он поэт, чьи большие подборки публикуются в различных антологиях. Он — авторитет, вызывающий чувство преклонения у иных молодых поэтов, даром что “похоронен” влиятельными критиками.

Он сам, уже давно не пишущий, прислушивается к себе, всматривается в себя, собирает по крупичкам свои сокровища. И признаётся:

“Чувствую, что я, как баржа пшеничная, нагружен народным словесным бисером. И тяжело мне подчас, распирает певческий груз мои обочины, и плыву я, как баржа по русскому Ефрату — Волге в море Хвалынское, в персидское царство, в бирюзовый камень. Судьба моя — стать столпом в храме Бога моего и уже не выйти из него, пока не исполнится всё”.

В особые минуты его посещают видения, о которых он рассказывает скупо, но и этой “скупости” хватает вдосталь.

“Слушал Россию, какой она была 60 лет тому назад, и про царя, и про царицу слышал слова, каких ни в какой истории не пишут, про Достоевского и про Толстого — кровные повести, каких никто не слышал. . . удары Царя-колокола в грядущем. . . парастас о России патриархальной к золотому новоселю, к новым крестинам. . .

В углу горницы кони каким-то яхонтовым вещим светом зарились, и трепыхала большая серебряная лампада перед образом Богородицы”.

Видения благие — да сновидения страшные. В них чрез земные тернии в выси Господни душа поэта путь держит.

“А я видел сон-то, Коленька, сегодня какой! Будто горница, матицы толстые, два окошка низких в озимое поле. Маменька будто за спиной стряпню развела. Сама такая весёлая, плат на голове новый повязан, передник в красную клетку.

Только слышу я, что-то недоброе деется. Ближе, ближе к дверям избанным. Дверь распахнулась, и прямо на меня военным шагом, при всей амуниции, становой пристав и покойный исправник Качалов.

“Вот он, — говорят, — наконец-таки попался!”. Звякнули у меня кандалы на руках, не знаю, за что. А становой с исправником за божницу лезут, бутылки с вином вылагают.

Совестно мне, а материнский скорбящий лик богородичной иконой стал.

Повели меня к казакам на улицу. Казаки-персы стали меня на копьё брать. Оцепили лошадиным хороводом, копьё звездой.

Пронзили меня, вознесли в высоту высокую! А там, гляжу, маменька за столом сидит, олашек на столе блюдо горой, маслом намазаны, сыром посыпаны. А стол белый, как лебязье крыло, дерево такое нежное, заветным маменькиным мытьём мытое.

А на мне раны, как угли горячие, во рту ребячья соска рожком. И говорить я не умею и земли не помню, только знаю, что зовут меня Николой Святошей, князем черниговским, угодником”.

. . . Охотников же опустить Клюева с небес на землю было более чем достаточно. Из него просто “выбивали” соответствие социальному заказу. К лету 1925 года давление стало невыносимым. Но именно оно и родило противодействие. Снова начали рождаться стихи.

Стихи, которые ни под каким видом не могли быть отданы в печать.

*Рогатых хозяев жизни
Хрипом ночных ветров
Приказано златоризней
Одеть в жемчуга стихов.*

*Ну, что же? — Не будет голым
Тот, кого проклял Бог,
И ведьма с мызглым подолом —
Софией Палеолог!*

Стихотворение назвалось “Нерушимая Стена” – мозаичное изображение Богоматери с поднятыми руками, символизирующими несокрушимость в заступничестве за православных – в конхе центральной аспиды Киево-Софийского собора... Здесь, в земной жизни, в окружении литературном только и спросишь себя: “Не в чулке ли нянином Пушкин обрёл певучий Кавказ” (“беззаконной каплей” назвал Клюев эти строки)? И “не веткой ли Палестины деревенские дни цвели, когда ткал я пестрей ряднины мои думы и сны земли?..” Весь “социальный заказ” и настоятельные просьбы воспеть ленинградского вождя Зиновьева, готовящегося к генеральной политической битве и мобилизовавшего для сего все ленинградские газеты, – “поганый кумыс” Батыя, что напоил им мученика Михаила Тверского... А там, на небесах, душа подлинной Руси, и взор поэта обращён в горние выси.

*Вознесенье Матери правя,
Мы за плугом и за стихом
Лик Оранты как образ славий
Нерушимой Стеной зовём.*

Тут же сложено новое стихотворение, начинается оно с запредельной дерзости, какую ни до ни после уже не позволит себе Николай.

*Не буду писать от сердца,
Слепительно вам оно!
На ягодицах есть дверца —
Гнилое болотное дно.*

*Закинул чертёнок уду
В смердящий водоворот,
Чтоб выловить слизи груду,
Бодяг и змей хоровод.*

Вся “жизнеутверждающая советская поэзия” этого времени, все творения “звёзд поэтических” – будь это Демьян Бедный или Безыменский, или те, что калибром поменьше, вроде Садофьева или Арского – не более, чем фекалии в отхожем месте.

*Это новые злые песни —
Волчий брѣх и вороний грай...
На московской кровавой Пресне
Не возрастѣт словесный Китай,*

*И не склонится Русь-белица
Над убрисом, где златен лик...
По-речному таит страница
Лебединый отлѣтный крик.*

*Отлетает Русь, отлетает
С косогоров, лазов, лесов,
Новоселье в жёлтом Китае
Справят Радонеж и Саров.*

Но сказано – не зарекайся! И сам Клюев отдаст свою дань “новым песням”, только эти песни будут кардинально отличаться от видимого ему стихотворного болота...

Пройдёт лето, падёт любимый Николаем листопад, отстучит холодный неуютный дождь, засеребрится асфальт инеем, подступят первые заморозки – и объявится снова в Ленинграде Есенин. В первую неделю ноября, наскоро, впопыхах, а затем – в конце декабря 1925 года, и заявит, что приехал насовсем.

Трагическим будет финал этой встречи.

(Продолжение следует)